

---

---

Евгений БЕЛОДУБРОВСКИЙ

# КНЯЗЬ ДОБРА, ИЛИ НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ

## Нефамильярные записки

Сложилось так, что я вслед за Мариной Цветаевой (помните ее очерк «Мой Пушкин»: памятник, бульвар, Москва, дом, детство, мать, отец... и *все мой да мой, мой да мой* — в каждой строке, в каждом жесте, букровке, взгляде на...) пишу не просто — Пушкин, а исключительно *мой Пушкин, мой Петербург, Ленинград, моя Зимняя канавка, моя блокада, мой Лихачев, Набоков, мой Никита Толстой, мой Альберт Эйнштейн, мой Шагал, мой Хармс...* И об их живом, личном, творческом участии в моей судьбе, о каждом из них я мог бы написать по тому (ударение на «о»; том — это не обязательно кирпич в тысячу страниц, для меня том — особая книга, книга — памятник в особом, духовном обрамлении, крепком переплете, объем тут не играет роли). И в таком присвоении имен нет ни грана фамильярности или вульгарного желания примазаться к чужой славе...

Нет, нет и нет! Просто я ощущаю настойчивую необходимость приблизиться к ним из чувства долга, благодарности, вступить с ними в спор (очно — заочно, через года, века, города и веси), почти по-родственному поделиться, и непременно чем-то лирическим, веселым и возвышенным. И так в большом и в малом, какая уж тут корысть. И ничего не могу с собой поделаться, таков мой удел и удел всякого честного должника, знающего толк в подобных делах и устремлениях...

Таков и Вы, мой князь Никита Дмитриевич!

Посудите сами! Вот родный (так!) мой дедушка (он умер в блокаду) в молодые годы жил в том же Витебске и снимал квартиру в том же доме на углу Замковой и Гоголевской, где была комнатуха-мастерская еврейского художника Юдея Пена, первоучителя Марка, у них четверых был один приказчик и один лекарь, ссыльный поляк Грушевский. А работы Пена нынче на вес золота. Вы, Никита Дмитриевич, знаете это лучше меня (у нас дома, в рамочке, была картинка-картонка, пейза-

---

Евгений Борисович Белодубровский родился в 1941 году в Ленинграде. Литературовед, культуролог, археограф, библиограф, краевед. Окончил Литературный Институт им. А. Горького. Преподаватель литературы в средней и в высшей школе. Член Санкт-Петербургского Союза ученых и Союза писателей Санкт-Петербурга. В 1997, 1999, 2001, 2003, 2007, 2011, 2015 годах по приглашению Нобелевского комитета присутствовал на церемонии присуждения Нобелевской премии в Стокгольме. Печатается с 1967 года в «Новом мире», «Звезде», «Неве», «Вопросах истории», «Русской литературе», «Байкале», сборниках РАН РФ «Памятники культуры. Новые открытия», «День и ночь», «Новый журнал» (США), «Знамени», «Вестнике РАН РФ», «Родник знаний», «Уральский следопыт», «Весть», «Пламя», «Антени» (Болгария, София) и мн. др.

жик Пена, от бабушки осталась)... А Дмитрий Сергеевич Лихачев лично, своим особым приказом зачислил меня в штат Ленинградского фонда культуры на Невском... И если бы не этот факт, вряд ли бы мы с Вами встретились, Никита Дмитриевич, и сколько бы в ином случае потерял мир искусства... А юный поэт Владимир Набоков с Большой Морской, мой сосед (только он родился на той стороне Мойки, а я на этой, у Зеленого моста) — земляк мой, как не родниться... В нашем доме жила старая дама Орехова или Ольхова, которая служила у Набоковых, знала по-английски и по-французски и даже показывала книгу «Японские сказки» (в переплете), подарок Елены Ивановны Набоковой, матери писателя... А вот перед глазами поэт Даниил Хармс (Даня Ювачев) из моей начальной школы на Невском, 22/24, куда я поступил в первый класс в 1948 году, играл в пятнашки и в прятки со сверстниками и переростками — дылдами послевоенными на переменах в том же коридоре на третьем этаже, сидел на той же парте «на камчатке», что и Даня в 1915-м... И наконец, вот я шагаю из-под арки Главного штаба вместе с высоким, тучным господином с тростью-палкой, в широком твидовом пиджаке в рубчик, в очках на затылке. Это Никита Алексеевич Толстой собственной персоной, профессор оптики и мой многолетний патрон и самый доверительный собеседник почти до конца своих дней. Правду сказать, о том, что Вы существуете в природе, и о Вашем таланте собирателя и знатока русской театральной живописи я и мои друзья вычитали из второго тома знаменитых «Записок русской академической группы в С.Ш.А.» (1968), который я выменял в «Сайгоне» или купил за чирик (уже не помню), потом мы подпольно, в одном НИИ, где мой приятель служил курьером, на копировальной машине «Эра» изготовили несколько копий, склеили, скрепили, и самиздат — готов, а мы — счастливы (подробно, «в красках», история создания мной этого уникального самиздата будет изложена ниже, а пока должен Вам сообщить, что эта Ваша энциклопедическая публикация с перечислением имен русских художников, с датами их жизни и с названиями главных картин, для меня в те годы явилась таким же историческим фактом нашей культуры, как появление романа Ильи Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь» или прозы Марины Цветаевой и стихов Мандельштама...).

Если Вы вернетесь к началу очерка и взглянете вновь на список избранных мною имен, Вас, дорогой князь, должно непременно удивить присутствие среди них имени Альберта Эйнштейна. Вот, казалось бы, уж точно «странное сближение», но для всего, что нам предстоит пережить вместе на этих страницах, — никак не странное, а самое что ни на есть необходимое...

Для начала — несколько «родственных» фактов и фактиков... Далекий 1923 год. 10 декабря. Альберт Эйнштейн в Стокгольме в качестве нобелевского лауреата по физике, а я, 10 декабря 2003 года, нахожусь там же, только в качестве почетного гостя Нобелевского фонда. Мы оба во фраках (церемония, от дресс-кода до полных танцев, не меняется, согласно «Завещанию», с 1901 года), взятых напрокат в том же гранд-отеле, где мы оба жили, только на разных этажах и... в разное время. И на банкете — другое меню и другие вина. Главное: Альберт Эйнштейн был кумиром моей матери. В мои детско-юношеские годы я часто слышал в разговорах матери с соседями, или в очереди, или когда у нас были гости такую фразу: «Спросите у Эйнштейна!», или по телефону: «Ну, милочка, этого не знает даже Эйнштейн». То есть с детства я знал, что есть такой «дядя» Альберт Эйнштейн, который знает ответы на все вопросы: как жить, кого любить, кому верить, кому поклоняться и так далее и тому подобное... Более того, я, совсем маленьким, представлял, что «Альберт Эйнштейн» — это одно слово: «альбертэйнштейн», как название лекарства, мыла или цветка... Была у нас и знаменитая фотокарточка 50-х годов, на которой великий физик снят с высунутым языком... И вот однажды я, уже большой

парень, семиклассник, спросил маму об Эйнштейне и получил ответ: «Так я боролась, Женя, в себе с Иосифом Виссарионовичем»...

Эта домашняя легенда с участием Альберта Эйнштейна вспомнилась мне после нашей последней встречи в Петербурге, в Вашем родовом гнезде, в отеле под названием «Четыре льва», где я оказался свидетелем Вашего интервью телережиссеру и публицисту Сергею Дебижеву. Вопросы звучали за кадром, ответы — в кадре, крупным планом... И почти каждый Ваш ответ, дорогой князь, был неожиданный и точный, минуя общие слова и всем известные прописные истины. У меня нет прав цитировать Ваши ответы, но это был настоящий урок русской истории — от августа 1914-го до июня 2014-го. Скажу лишь, что Вы сумели даже сбить с толку Вашего интервьюера, который почти в каждом своем вопросе о войне и мире, о Царе-батюшке и об Ильиче, об Англии—Германии—Штатах—Японии—Италии и их правителях, настоящих заговорщиках (чуть ли не масонах, хотя это слово не было произнесено, оно витало в воздухе), говорил о заговорах, шифрах, интригах, мистике, фанатизме... Ан нет! У Вас в каждом ответе присутствовал главным образом ч е л о в е ч е с к и й ф а к т о р, Вы обращали зрителя к конкретной л и ч н о с т и ... И уже потом объясняли смысл и умысел совершенных ею деяний. Вот в чем загадка и разгадка, вот где, по Вашей справедливой мысли, царит заговор — в душе, в слабости самого человека, получившего власть над людьми и страной, получившего ее по наследству или взявшего — силой и обманом...

Я, наблюдая Вашу дуэль (не совсем по правилам), видел, как менялся голос Сергея Дебижева, как его убежденность в своем мнении почти улетучивалась, он сопротивлялся, терял нить, перескакивал с темы на тему, это уже была игра в одни ворота, когда в споре одна из сторон явно сильнее и поэтому побеждает...

И еще одно наблюдение поразило меня тогда: в гостиной все — мраморы, диваны красного дерева, плюш, бархат, хрусталь, лепнина, бронза, портьеры, паркет — внешне, как было здесь прежде, в дооктябрьские времена у Лобановых-Ростовских, благо сохранились документы и фотографии, все вроде бы настоящее... Но — не живое, и необъяснимо тянет поскорее покинуть этот оазис... Одно — навсегда: вид самого дома, львы моего детства и Александровский сад, фонтан, нетускнеющий шпиль Императорского Адмиралтейства и кораблик, вот уже столько веков весело парящий над моим родным городом и своим присутствием не дающий быть Петербургу пусты... И еще Вы, мой дорогой, веселый, насмешливый, ироничный князь Никита Дмитриевич, экономист, денди, владеющий несметным количеством пиджаков, галстуков, башмаков и запонок, знающий толк не только в живописи, но и в бумажнике; князь Лобанов-Ростовский, говорящий на многих нужных ему для общения и бизнеса языках, Вы, мой избранный друг...

И еще одно воспоминание. Как-то в эпоху гласности и так называемого «нового мышления» в Санкт-Петербурге (он был еще Ленинградом) на большой пресс-конференции в Союзе ученых на Университетской набережной, посвященной подготовке к будущей конференции о взаимодействии культуры и науки в период перемен, на вопрос, заданный мне заядлой журналисткой: назвать двух самых выдающихся исторических деятелей XX века в России, я ответил коротко: Керенский и Горбачев. Не успела скромная публика как-то переварить мой ответ, как та же дама вновь выбросила руку и попросила уточнить персонально, что я с удовольствием сделал...

— Да! Александр Керенский, за восемь месяцев свободы в 1917-м, и Михаил Горбачев, за свержение большевизма и «новое мышление» в 1985—1990-х. Две эпохальные попытки возрождения России.

— А конкретно, — не унималась настырная дама, — назовите имя хоть одного человека, с которым непосредственно связано торжество горбачевской эпохи в области, скажем, культурного возрождения России.

— Без проблем! — воскликнул я и выдал им на-гора целый монолог. — Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, известный собиратель и коллекционер театральной живописи и графики русской эмиграции! Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский — проживающий в Англии гражданин США, коренной прямодушный русский интеллигент, богатый душевной щедростью, ученый-геолог. В юные годы ему пришлось пережить тюрьму, карцер в Болгарии, работу чистильщиком ботинок, подбирающим окурки на улицах Софии. Он совершил дерзкий побег, сумел выпрямиться, выучиться, стать чемпионом Болгарии по плаванию среди юношей, крупным ученым-нефтяником и собственным трудом сколотить, как он говорит, деньги и авторитет в банковском мире Европы и Америки. В течение более полувека (1958—2009) он мотается по свету с единой целью — собрать и сохранить для родины своих предков коллекцию русской театральной живописи и графики и возродить имена творцов, обреченных на изгнание и забвение. И какая должна быть сила духа у человека, чтобы все эти годы верить и знать, что рано или поздно настанут времена, когда на родине реабилитируют забытый пласт отечественной культуры! А искренняя вера — это особый дар, как и природный талант Никиты Дмитриевича как собирателя, который в сочетании с талантом предпринимателя и ученого позволяет правильно оценить то или иное произведение искусства и расположить к себе его владельца или случайного продавца-перекупщика. Смею утверждать, что после Третьякова, Сергея Дягилева и Николая Бенуа князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский достоин именоваться м е ц е н а т о м в самом высоком, первоначальном смысле этого слова.

Вот пришли новые времена. И мечта Лобанова-Ростовского сбывается. Его уникальная коллекция возвращается на родину, постепенно обретая родную крышу, кров, музейные подмошки, а сам ревностный собиратель и хранитель — искреннее признание, награды, благодарность соотечественников, ценителей искусства, и властей... В декабре 2008 года Никита Дмитриевич продал в Петербург значительную часть своей коллекции с одним неременным условием: полная сохранность, целостность, открытость и доступность всех без исключения экспонатов (как известно, уникальное собрание Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской хотя и вернулось в Петербург, но тут же оказалось закрыто для широкой публики за семью печатями).

Таким образом, после стольких лет изгнания и утрат перед взором петербургских ценителей русского театра начала XX века, студентов-театроведов и искусствоведов предстали творения таких забытых художников русской эмиграции, как Михаил Федорович Андреев-Нечитайло и Павел Челищев, Соня Делоне (Тёрк) и Александр Серебряков, Николай Ремизов (Ре-ми) и Георгий Пожидаев, Сергей Чехонин и князь Александр Шервашидзе. Не говоря уже о работах известных и ранее мастеров театра, таких, как М. Шагал, Л. Бакст, А. Экстер, Н. Гончарова, Н. Ларионов, С. Судейкин, П. Анненков, Б. Григорьев, М. Добужинский, А. Анисфельд, Л. Попова и др.

Как уже было сказано в самом начале моих записок, имя Ваше как собирателя и знатока русской живописи было знакомо задолго до нашей встречи. В самые лихие брежневские времена застоя и цензуры в тогдашнем Ленинграде, в центре, на углу Невского и Владимирского проспектов, существовало кафе «Сайгон». Здесь с полудня и до позднего вечера толкалась всякая мастеровитая деклассированная молодежь и юная философическая поросль. Тон там задавали поэты и художники, но были и музыканты, артисты массовки, первокурсники, бездомные шалопаи, курильщики всякой дряни и собиратели всякой антикварной всячины... И всё сплошь гении и эрудиты (и на самом деле — большинство действительно интересовалось искусством, литературой, музыкой, театром). Я был там

завсегдаем! У меня был свой круг «посвященных», круг друзей-единомышленников, которые, помимо любви к крепкому кофе и кофейному духу общения, почти построчно знали стихи Марины Цветаевой, Пастернака, Ахматовой, Мандельштама. «Звучали» для нас и имена Пикассо, Филонова, Дали, Дягилева, Платонова, Ходасевича, Хармса... А «Голос Америки» и русское западное радио было «нашим» радио. Никакой особой политики, мы желали одного: чтобы нам никто не мешал... Доступен нам был и самиздат.

И вот однажды ко мне попали машинописные «Окаянные дни» Бунина, удивившие меня необыкновенно! Не столько содержанием (что к чему и кто такие большевики, мне было ясно давно), сколько новым обликом автора. И на какое-то время «такой» Бунин, «эмигрант» и публицист, занял все мои мысли: уж слишком резким и непохожим на себя здесь выглядел Иван Алексеевич, художник слова, певец страстной любви, деревни и русской природы.

И тут случилась счастливая оказия! Как известно, в «Сайгон» нередко заходили «высоколобые»: книжники, букинисты и просто перекупщики. Не многие из них читали то, чем торговали (букинисты и книжники — те знали и нас уважали, принимали заказы). Мы дружили. Там тоже был свой круг. Его участники обретались на противоположной стороне Литейного, в ближних магазинах старой книги, проходных дворах и подворотнях, от угла Литейного до громадного серого «Дома нефти» (бывшего Департамента Министерства юстиции).

И вот один из книжников с Литейного, узнав, что я интересуюсь зарубежным Буниным, предложил мне купить у него два с в е ж и х тома «Записок русской академической группы в США» за 1968 и 1969 годы. (Мог ли я думать в конце 60-х, что в моей стране настанут такие времена, когда сам Евгений Львович Магеровский, профессор русской истории и соредактор этих самых «Записок...», в 1993 году в своей квартире на Ленсингтон-стрит, 78, в Нью-Йорке, вручит мне в подарок свеженький, только что из типографии 25-й том «Записок...», посвященный «Русской религиозно-философской мысли и А. А. Фету по случаю столетия его смерти».) Я не раздумывая согласился на эту весьма расточительную для моего бюджета сделку и был вознагражден сторицей. В первую очередь, конечно, опубликованными в «Записках...» письмами Бунина к Петру Струве (письма писателя к политику с комментарием Глеба Струве; достоверный «портрет» жизни и быта русской эмиграции: кто чем и как жил, с кем дружил, на что надеялся, что читал, писал; тут и Цветаева, и Набоков, и Борис Зайцев, и Шмелев...). Далее — масса разнообразных ученых статей незнакомых мне авторов (кроме, пожалуй, варшавского профессора Е. В. Спекторского, коллеги А. Л. Блока и шафера на свадьбе поэта и Любви Дмитриевны). Назову еще опубликованное в этих «Записках...» довольно большое исследование бывшего саратовского профессора Н. С. Арсеньева под названием «О духовной и культурной традиции русской семьи», в которой автор щедро цитирует «Реквием» Анны Ахматовой. У меня сложилось впечатление, что вся эта «семейная морозка» (от первых веков существования Руси до нашего времени) затеяна автором исключительно для того, чтобы опубликовать несколько цитат из запрещенной у нас поэмы.

Самым же неожиданным в двух серых крапчатых (обложка мягкая, дешевая, «под обои») американских томиках стал большой очерк-исследование о русской театральной живописи начала XX века. С биографическими справками и библиографией (совершенно меня поразившей). Признаюсь, что в те годы профессиональная, музейная живопись меня не сильно интересовала; разве что залы Русского музея, где я назначал свидания знакомым барышням у известных картин известных художников (чаще всего у репинского портрета Льва Толстого в блузе и босиком).

Автором очерка был «некто» Н. Д. Лобанов. Правда, сноска тут же указывала фамилию полностью: Н. Д. Лобанов-Ростовский. Вскоре у Брокгауза я вычитал, что автор наверняка принадлежит к славному княжескому роду Лобановых-Ростовских.

В конце краткой «вступилочки» князь Н. Д. Лобанов-Ростовский скромно напомнил читателям, что его труд всего лишь «компиляция, составленная не только на основании имеющихся уже печатных работ на русском, английском и немецком языках, но и на основании собранной автором коллекции старых театральные программ и афиш и его разговоров и переписки с рядом русских художников или членами их семей».

Все так, да не совсем так! Отныне ясно одно, что исследование князя Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского явилось едва ли не первой работой по истории русской зарубежной театральной культуры, причем историей «в лицах и положениях», изложенной отличным русским языком. Для меня большинство художников, эмигрантов, картин, галерей, зарубежных музеев, упомянутых в очерке, были в новинку. Кроме хрестоматийных: Репина, Куинджи, Врубеля, Рериха, Билибина, Бенуа, Добужинского...

Сейчас нет нужды пересказывать содержание этого уникального (для того времени) энциклопедического очерка-исследования. Стоит отметить лишь одно обстоятельство. Речь идет об упомянутой мною выше библиографии по истории русского театрального искусства, кропотливо составленной Никитой Дмитриевичем. Более трех сотен названий книг, журналов, отдельных статей, персоналий...

Не без гордости вспоминаю 16 мая 1990 года, когда еще в Ленинграде, в Доме журналиста, профессор Никита Алексеевич Толстой и ваш покорный слуга вели первый персональный вечер князя Никиты Лобанова-Ростовского, где публика впервые увидела слайды с уникальными творениями великих мастеров театральной графики и рисунка. Потом, лет через пять-шесть, была моя встреча с Никитой Дмитриевичем в Лондоне, в его гостеприимной квартире. А 24 сентября 2009 года — в Петербурге, на открытии выставки, посвященной его коллекции, в Театральном музее...

Кстати сказать, тогда, в «Сайгоне», автор очерка по русскому искусству и живописи казался мне (заочно) этаким кабинетным седым старцем. Каково же было мое удивление, когда в Фонде культуры, на углу Невского и Думской улицы, появился стройный, моложавый, спортивного сложения мужчина, настоящий денди средних лет, с открытым, удивленным, насмешливым, ироническим взглядом уверенного в себе человека, который с первого же мига и на долгие годы располагал к себе...

Тогда и всегда я задавал себе вопрос: кто же он, князь Никита Дмитриевич? Ибо он и строгий ученый, и профессор геологии, и пловец, и коллекционер, и эзк, и бизнесмен, и гурман, и знаток женской красоты, вина, кубинских сигар... И как-то в недавней беседе я решился спросить его: кто же вы, Никита Дмитриевич? Что явилось залогом вашей жизни и карьеры? Ответ был: я свободный, независимый и счастливый человек.

Теперь к главному. То есть к Альберту Эйнштейну. К моему юбилею мои друзья, коллеги и ученики предложили мне самому составить сборник о себе. При жизни, чего ждать... То есть о родительском доме, об отце, матери, старшем брате, дедушке, бабушке, ученье, друзьях-товарищах, книжках, путешествиях и так далее... Я принялся вспоминать, копаться в памяти, в письмах... И вдруг наткнулся на несколько моих армейских писем к матери, которые выпали из толстенной книги «Эйнштейн. Жизнь, смерть, бессмертие» — подарок мне на 30-й день рождения... Открыл — и не мог оторваться, особенно в тех местах, где автор пересказывает и толкует ироничные, серьезные, шуточные ответы Эйнштейна в бесчисленных интервью,

беседах, лекциях и выступлениях: о войне и мире, о науке и религии, об искусстве и поэзии, жизни, смерти и бессмертии...

И вот я, откликаясь на Вашу лукавую просьбу — высказать свое отношение ко всему услышанному и увиденному в тот полдень 9 июля, мне пришла дерзкая мысль принять на себя роль Сергея Дебижева ( то бишь — интервьюера) и задать Вам несколько вопросов из тех, что задавали в разное время разные люди моему Альберту Эйнштейну. Ибо я увидел (вычитал, и не только из той книги) в его ответах сходство с Вашими в отношении к жизни как таковой, жизни деятельной, сложной, не без печалей и утрат, к такой, какой ее пытался познать и понять Лев Толстой, постоянно мучившийся вопросом: как «исполнять свою земную обязанность без точки веры в себя, в важность дела, когда... *недостает энергии заблуждений, земной стихийной энергии*, которую выдумать нельзя...» (письмо к Н. Н. Страхову от 8 июля 1878 года) . Так вот, у Вас обоих в этом все с точностью до наоборот, то есть у Вас этой самой «энергии заблуждения» с избытком... И еще больше — самоиронии. При чем при полном отсутствии самолюбования, чем подчас грешил Лев Николаевич...

Я уверен, что с той же энергией заблуждения и с той же верой в себя и с тем же неиссякаемым запасом иронии и насмешкой над жизнью и возрастом жил и творил Альберт Эйнштейн. Не говоря уже о том, что Вы оба в разной степени, но с одной болью испытали остракизм властей и невыносимое бремя изгнанничества.

Итак — вопросы, мысли, ответы и избранные афоризмы Альберта Эйнштейна!!!

Вопрос первый, Никита Дмитриевич:

*Прав ли был Альберт Эйнштейн, ответив на вопрос молодого студента-богослова о миссии Библии так: «Библия — миф, наполненный жизнью». А ваше мнение?*

ОТВЕТ:

Да, я стопроцентно согласен с ответом Эйнштейна. О том, что Библия — миф для многих, в этом нет сомнения. Посудите сами. В первой главе Бытия (строчки 26—27) указано, что Господь создал в шестой день одновременно Адама и Еву. А во второй главе Бытия (строчки 21—22) указано, что Еву создали после создания Адама из его ребра. Оба несоответствующие описания указывают на создание жизни не только наших родоначальников, но всех живых тварей. Так что да, «миф, наполненный жизнью».

Вопрос второй — от одного журналиста-политолога Эйнштейну, когда тот был в США:

*Справедливо ли было сказано о нем, что он-де как ученый и мыслитель и пацифист, «правлящий монарх разума»? Что вы думаете о таком так называемом «монархизме»?*

ОТВЕТ:

Безусловно, Эйнштейн долгие годы был выдающимся, если не единственным гением науки начала XX века. И он был правящий монарх разума, повлияв на развитие науки. Но он никак не годился бы на роль монарха как политического вождя, где требуется прагматичный ум и способность принимать решения, которые часто противоречат морали и пацифизму.

Вопрос третий:

*На вопрос, «чем занимается наука и что лежит в основе научного знания», Эйнштейн ответил, что, мол, основой всех естественных наук и искусств является вера человека во внешний мир, не зависящий от воспринимаемого его субъекта.*

*Так ли это или справедливо для той, ушедшей эпохи, без компьютеров и мобильной связи?*

ВАШ ОТВЕТ, Н. Д.

Не ответив на вопрос, чем занимается наука, Эйнштейн определил, что в основе научного знания лежит убежденность в объективности внешнего мира, не зависящего от воспринимающего субъекта. Я не вижу, как компьютеры и сотовые телефоны влияют на эту аксиому.

ЭЙНШТЕЙН О БОЛЬШЕВИКАХ И О ЛЕНИНЕ:

*...их власть постоянно паразитировала на пустом желудке граждан и мнимом патриотизме (очень похоже на сегодня)...*

ВАШ ОТВЕТ:

Пустые желудки граждан меняют политические установки их стран. Ульянов и власть большевиков пользовались «пустыми желудками» для управления страной. Что он был мнимым патриотом — очевидно, ибо отдал более четверти Российской империи уже истощенной от войны Германии при заключении Брест-Литовского мира с целью, чтобы самому удержаться у власти.

ЭЙНШТЕЙН:

*...Правда ли, что главной проблемой науки должна быть забота о том, как сделать лучше жизнь простого человека? Но как? И что значит — простой человек?*

Нет, я не думаю, что главной задачей науки является забота, как улучшить жизнь простого человека. Последнее — не задача ученых, а задача политиков. Этим девизом они заманивают избирателей (простых людей), обещая им лучшую жизнь для всех при условии, что их выберут. Помимо понятия «избиратель», я не достаточно тонко знаю русский язык, чтобы ответить о значении понятия «простой человек».

О ВЕРЕ И РЕЛИГИИ:

Эйнштейн: *«Это детская болезнь человечества» и человека и... «почитание силы, стоящей за тем, что поддается нашему осмыслению»... Я верю в бога Спинозы, который проявляет себя в гармонии всего сущего, но не в Бога, который заботится о судьбе и действиях людей.*

ОТВЕТ:

Я думаю, что Эйнштейн ответил правильно в другом интервью, что религия есть «почитание силы, стоящей за тем, что поддается нашему осмыслению». Эйнштейн несомненно разделял его точку зрения об абстрактной концепции Бога, отождествляя его с гармонией всего сущего. Как русский я разделяю эту точку зрения

ЭЙНШТЕЙН О БЕССМЕРТИИ ДУШИ:

*Мне достаточно и одной жизни.*

ОТВЕТ:

Конечно, Эйнштейну очень повезло, что он довольствовался одной жизнью. Миллиарды жителей нашей планеты разных вероисповеданий верят в продолжение жизни в разных ипостасях. «Блаженны верующие, ибо есть у них Царство Небесное» (Матфей 5:3).



ЭЙНШТЕЙН:

*Человек может поступать так, как пожелает, но не может желать/жить исключительно по своему желанию.*

ВЫ:

Мой ответ прост: это не подлежит обсуждению. Это наш удел по аксиоме.

ЭЙНШТЕЙН: *Сами довольствуйтесь малым, а другим давайте много.*

НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ: Как аксиома это звучит уважительно. Но это противоречит человеческим инстинктам, которые мотивируются: 1) самосохранением (пища, крыша и т. д.), 2) размножением, 3) накоплением добра. Смысл этого напутствия Эйнштейна воспринимается как библейская заповедь: основы человеческой морали должны быть важнее «исключительно личного». Но естественно возникает вопрос: всякое ли благое деяние благотворно? Под конец жизни, не имея наследников, я раздаю другим больше и больше, часто неразумно. К примеру, я подарил Музею Ростовского кремля предметы искусства более чем на полтора миллиона евро; но уже второй год музей не может справиться с реставрацией дома Шлякова под дом-музей Лобанова-Ростовского, а я старею и боюсь не увидеть дня его открытия, если он когда-нибудь будет.

ЭЙНШТЕЙНА ЧАСТО СПРАШИВАЛИ:

*Свободны ли люди в своих поступках?*

Да, люди относительно свободны в своих поступках. Абсолютную свободу можно найти, живя в джунглях. Например, в сегодняшней России (беспрецедентно за последние 400 лет) люди имеют выбор, что до сих пор не предвиделось в стране. Пренебрегая основными моральными человеческими аксиомами, сегодня в России можно преуспеть, а прибавив пренебрежение к социальным законам, достичь благосостояния. А те, кто не хотят идти на моральные и светские компромиссы, могут вести незаметную и незначительную жизнь и скончаться естественной смертью.

ВОПРОС:

*Всегда ли наука, или искусство, или поэзия несут ответственность за свои поступки?*

Да, всегда наука (физика), искусство и поэзия должны нести ответственность за свои поступки. Эта ответственность может быть моральной в теократиях (как Саудовская Аравия или Израиль) или же социальной в странах «политической корректности» и автократиях, как Турция и Россия.

И ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС:

*Если бы вы, господин Эйнштейн, приняли участие в спиритическом сеансе – чей дух был бы вам ближе? Ответ был прост и гениален: я не могу отвечать на этот интересный вопрос, будучи в смокинге, в ожидании ужина с дамами и с их мужьями...*

ОТВЕТ:

В юности я принял участие в спиритическом сеансе. Вызывал дух Данте Алигьери. Он мне ответил, что, поскольку я хоккеист, мне предназначен девятый круг ада, где царит лед. Привлекательность этого круга, что, будучи на границе с восьмым, из него можно беспрепятственно наблюдать все то, что изобрел Иероним Босх и его последователи в своей живописи, которую я уважаю.

Что и требовалось доказать. Я же лишь могу поздравить себя и гордиться (и теперь разделить эту гордость с читателем), что судьба мне подарила радость и трогательное беспокойство дружеских, окрыленных крепким словом встреч и застолий с Вами, дорогой князь Никита Дмитриевич:

профессором химии (Ломоносов гордился, когда его так величали);  
искусствоведом;  
балетоманом;  
мемуаристом;  
философом;  
лингвистом, специалистом по языку блатных, русских дворников прошлых времен и современных бомжей;

русистом;  
музееведом;  
политологом;  
афоризмитом;  
финансистом;  
публицистом;  
пловцом на открытой воде;  
стройным в мыслях, пиджаках, штиблетах и бабочках;  
И, наконец, главное:

смелым,  
крепко сложенным,  
верным мужем госпожи Джун,  
а

также:  
умелым,  
внимательным,  
насмешливым,  
серьезным,  
ироничным собеседником всех без разбора:

от  
горничной,  
работяги на приисках,  
кассира в банке,  
кельнера,  
парикмахера,  
спортсмена,  
фотографа,  
зеваки,  
журналиста-телевизионщика,  
актера-статиста,  
поденного газетчика

до  
президентов,  
банкиров,  
министров,  
первосвященников,

царедворцев, мэров, дипломатов, парламентариев и париев всякого рода, племена и пошиба.